

А. Г. ВИШНЕВСКИЙ

Федерализм и модернизация

Кажется очевидным, что Советский Союз распался вследствие непрерывного нарастания центробежных сил внутри советской империи. Но, пожалуй, точнее объясняет этот распад не то, что центробежные силы были слишком велики, а то, что недостаточными оказались противостоящие им центростремительные силы. Слабость центростремительных сил, которую можно назвать слабостью советского федерализма, естественным образом вытекала из всей советской модели развития, хотя истоки процессов просматриваются еще в дореволюционном прошлом. Ценности федерализма, столь почитаемые в таких странах, как США или ФРГ, никогда не были по-настоящему популярны ни в России, ни в СССР. В лучшем случае им доставалось холодное официальное признание, но оно не шло ни в какое сравнение с почти психопатическим массовым обожествлением всякого рода «национально-освободительных движений».

Ранний федерализм

Говоря о настроениях дворянства (губернской «региональной элиты» екатерининской эпохи, классической имперской поры), В. Ключевский замечал, что оно не стремилось к участию в центральном управлении страной, все его политические стремления связывались с местным самоуправлением. «Дав нам в руки уезды, правьте, как знаете, столицей» [1].

Однако то были принципы, удобные в условиях относительно однородного, автаркического помещичьего хозяйствования, следование которым стало быстро терять смысл по мере того, как развивались городские виды деятельности и экономическое пространство страны становилось все более насыщенным и неоднородным. Примерно к середине XIX века постепенная модернизация России привела к осознанию связи самостоятельных экономических интересов регионов с делами всей страны, в них пробудились силы самоорганизации, противостоящие чрезмерному имперскому централизму.

Узкая дворянская верхушка растворялась в более широком слое новых региональных элит, в который помимо остатков старого дворянства входили буржуазия (купцы и промышленники), а также высшие чиновники, университетская профессура, деятели культуры и в какой-то мере вся разночинная интеллигенция. Осваивая открывшиеся вследствие модернизации многочисленные каналы социального продвижения и обогащения, новые региональные элиты искали большей самостоятельности и начали бороться за усиление своего влияния в центре. Но не для того, чтобы захватить абсолютную власть в империи, как это

случалось прежде, а для того, чтобы усилить свои позиции в межрегиональной конкуренции.

Хорошим примером сравнительно раннего появления таких требований может служить сибирское «областничество». Как писал в начале нашего века один из его активных сторонников Г. Потанин, «первый крик нарождающегося сибирского областничества, раздавшийся в 40-х годах: „Естественное богатство Сибири есть достояние области!“, — удачно сразу наметил область экономических интересов как базу сибирского областничества» [2, с. 57, 58]. Потанин подчеркивал естественность деления империи на отдельные области и экономического соперничества между ними. «Областническая тенденция, покоящаяся на экономическом соревновании частей государства, имеет право на столь же долгий срок существования, как само государство» [2, с. 56, 57].

«Областники», стало быть, не просто претендовали на автономию внутри своих областей, наподобие дворян екатерининской поры, а добивались расширения своих прав на общероссийской сцене. Эти устремления и сформировали идеологию федерализма, т. е. повышения статуса регионов (губерний, областей) до такого уровня, чтобы они могли, например через своих представителей в верховных органах власти, эффективно отстаивать свои интересы и ограничивать всевластие центра. На протяжении XIX века, по мере вызревания новых региональных элит, федералистские требования звучали все громче. Их глубинный смысл всегда был один и тот же: передел экономической, а если можно и политической, власти между регионами и имперским центром в пользу регионов.

Кризис этничности и национализм

Во второй половине XIX века реальных сил молодого российского федерализма для такого передела было недостаточно. Обнаружилось, однако, что у него есть мощный союзник — национальные движения. Подобно регионализму, они тоже были вызваны к жизни модернизацией. Обрекая на исчезновение традиционное русское аграрное общество, модернизация обесценивала присущие ему этнокультурные интеграторы и порождала явление, которое можно назвать «кризисом этничности».

Некогда для неграмотного крестьянина в любой части империи язык его отцов был естественным и единственно возможным. Но с появлением больших городов, железных дорог и современного образования положение усложнилось. Для украинца, татарина или грузина, покинувшего свою деревню, недостаточно было знания только родного языка, чтобы выйти в большой имперский мир. Рост подвижности населения усиливал «имперскую» роль русского языка и в то же время умножал число тех, кто вынужден был пользоваться им, не будучи его естественным носителем. Незнание или слабое знание русского языка служило барьером на пути социального продвижения, к которому стремилось все большее число представителей невеликорусских этносов. Жизнь ставила их перед необходимостью выбора (или компромисса) между родным и русским языком.

Языковая ситуация — лишь один из примеров того, как местное и имперское вступало в конкуренцию между собой, требуя сделать нелегкий выбор. То же было с религией, обычаями, правилами повседневной жизни и т. д. Шаг за шагом, с разной скоростью для разных социальных, этнических, лингвистических или конфессиональных групп, общество втягивалось в мучительные поиски нового «мы» и нового «они». Имперское сознание утрачивало свою целостность, раздваивалось, нарастал культурный, ценностный конфликт.

Будучи несомненным следствием успехов модернизации, он не становился от этого менее болезненным, воспринимался многими как результат не собственного развития идущих по пути модернизации обществ, а злокозненного внешнего вмешательства. В глубоком внутреннем конфликте старого и нового выдвигалось лишь противоборство идеализируемого «своего» и критикуемого «чужого». Так

складывались идеи и настроения, которые питали национальные и националистические движения, обеспечивали их массовость. С успехом модернизации конфликт лишь обострялся, национальные движения, поначалу умеренные, радикализировались, от попыток защитить культурную самобытность своих народов, их язык и т. п. переходили к лозунгу «национального освобождения», а, по-существу, к требованию, «чтобы политические и этнические единицы совпадали, а также чтобы управляемые и управляющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному этносу» [3], — в этом требовании Э. Геллнер видит суть национализма.

Сибирские регионалисты подчеркивали исключительно «территориальную» природу своих требований. «Уральский казак так же резко противопоставляет свое местное остальному русскому, как и украинофил, а между тем этот сепаратизм чувства образовался без всяких этнографических и традиционных источников» [2, с. 60]. «Сибирь в ряду других областей, в которых проявляется стремление к областничеству или автономии, выделяется тем, что в ней эта идея не связывается и не связывалась с национальной идеей. Основа сибирской идеи чисто территориальная» [2, с. 58]. Развитие федералистских идей в России, однако, недолго удерживалось в рамках идеологии «областничества», т. е. расширения прав и возможностей областей вне связи с национальной идеей. Региональные элиты очень быстро поняли, какую мощную поддержку в борьбе за передел власти и влияния между ними и имперским центром они могут получить со стороны национальных движений. Соблазн обращения к этническим чувствам был так велик, что даже русские сибирские «областники» предприняли попытку раздобыть себе «этническую родословную», выдвинув идею «образования путем скрещивания и местных физико-исторических и этнологических условий, однородной и несколько своеобразной областной народности» [4]. В невеликорусских же частях империи федерализм все больше окрашивался в национальные цвета и в конце XIX века почти полностью слился с национализмом. Региональные элиты почувствовали себя намного более уверенно, когда смогли опереться на национальные движения и ощутить себя одновременно и национальными элитами.

Симбиоз федерализма и национализма

Объективно федералистские и националистические силы и движения в Российской Империи не были тождественны. Во многом они должны были, скорее, противостоять друг другу. Хотя и те и другие были вызваны к жизни модернизацией, будущее первых было объективно связано с успехами модернизации и использованием ее плодов, вторые же представляли собой, скорее, антимодернистскую реакцию и были ориентированы на возврат к прошлому. Потенциально региональный федерализм и этнический национализм враждебны.

Но в реальных условиях Российской Империи начала XX века у федерализма и национализма были значительные области пересечения интересов, что и привело их к сближению. Симбиоз федерализма и национализма породил противоречивую концепцию «национально-территориальной автономии». Изначально регионалисты и националисты в России выступали от лица разных «совокупностей», границы территорий и этносов в России никогда не совпадали. Сторонники компромиссной идеи «национально-территориальной автономии» закрывали глаза на эту «неувязку», не говоря уже о более глубоких различиях и противоречиях федерализма и национализма.

Региональные требования превратились в регионально-национальные, хотя и формулировались поначалу в терминах федерализма и не посягали на целостность империи. Даже в начале XX века для большинства национальных движений в Российской Империи была характерна позиция, так выраженная, например, одним из украинских лидеров М. Грушевским: «Формой, которая наилучшим образом обеспечивает беспрепятственное существование и развитие

народностей и областей... прогрессивная украинская платформа признает национально-территориальную автономию и федеративное устройство государства» [5]. Но грань, отделявшая национально-территориальный федерализм от сепаратизма, была очень тонкой. Вступив в союз с национализмом, федерализм, казалось бы, усилил свои позиции. На деле же он стал заложником национализма, под крышей умеренного федерализма вызревали крайние, сепаратистские настроения; они ждали своего часа. В конце концов этот час настал.

После крушения центральной власти во время революции 1917 года программы всех национальных движений радикализировались, требования национально-территориальной автономии сменились требованиями полной независимости. Тогда и федералист Грушевский, ставший в марте 1917 года председателем Украинской Центральной Рады, написал: «Не разрывая с федералистской традицией как ведущей идеей нашей национально-политической жизни, мы должны твердо сказать, что теперь наш лозунг — самостоятельность и независимость» [6, с. 76].

Провозгласить самостоятельность и независимость многих частей империи оказалось легче, чем их сохранить. В большинстве случаев у региональных элит не нашлось ни нужной силы, ни достаточной социальной опоры для того, чтобы отстоять самостоятельность, да и их собственная позиция оказалась противоречивой. На окраинах империи ростки нового обычно были более слабыми, чем в центре, распад империи еще более ослаблял их. Усиливалась антимодернистская реакция, всегда сопровождающая этнический национализм, начинался «фундаменталистский» пересмотр ценностей. Все это затрагивало интересы не только новой «разночинной» элиты, но и более широких слоев пришедшего в движение общества, причем слоев наиболее деятельных, ибо они стремились к перемене своего положения. Отказ от модернизации или ее торможение означали, что открывшиеся были каналы горизонтальной и вертикальной мобильности суживались, а то и вовсе перекрывались. Подобная опасность не могла не вызвать к жизни активного противодействия и привела к сплочению новых проимперских сил, которые оказались в одном лагере не в результате сознательно заключенного союза, а вследствие спонтанных прагматических ответов на угрозу антимодернистской реакции. В этом смысле можно согласиться с анализом евразийцев: хотя восстановление империи было результатом деятельности стоявших у власти коммунистов, выработку «основных форм политического бытия» следует приписать «народной стихии, а не коммунистам, которые были лишь удобными орудиями и, в общем, послушными исполнителями» [7].

Фасад советского федерализма

Восстановление империи шло под федералистскими лозунгами. Хотя еще в 1913 году В. Ленин возражал против «федеративного принципа» (скорее всего, опасаясь, как и многие другие, национализма и сепаратизма), в написанной им и принятой в январе 1918 года Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа провозглашалось, что Советская Российская республика учреждается как федерация Советских национальных республик. Этот принцип был воспроизведен и подтвержден в 1922 году при создании СССР.

Советский федерализм пошел по тому же заведомо противоречивому пути, на котором в дореволюционную пору настаивали федералистски настроенные представители национальных движений: воплотил в жизнь идею национально-территориальных автономий. Противоречия дали себя знать практически немедленно. И без того не слишком мощная база умеренного, либерального федерализма была резко ослаблена в революционные годы (ее основу составляли слои, связанные с упраздненным капитализмом), тогда как национальные движения — тактические союзники большевиков — напротив, укрепили свое положение. Федерализм в еще большей степени, чем прежде, оказался заложником национализма, за спиной которого снова стал возникать признак сепаратизма.

Эту опасность сразу же подметили внешне враждебные, но внутренне родственные большевикам эмигранты-евразийцы. Хотя они уже в конце 20-х годов ясно осознавали прозрачность советского федерализма («Россия ныне самое унитарное и еще вдобавок самое централистическое государство, — писал Н. Алексеев в 1927 году. — А все то, что советское правительство вещает о федерализме... — чистый обман, придуманный хитрыми людьми для людей глупых» [8, с. 110]), опасность националистического сепаратизма тревожила их намного больше, чем реальность унитаризма. Последнему они, по существу, давали индульгенцию: «...Упорно проводимое коммунистами начало централизма в законодательстве и в установлении „общих принципов“ политически является совершенно соответствующим условиям русской жизни» [8, с. 122]. Сползание же к национализму их очень тревожило: «Создав в пределах Союза большое количество национальных республик, ...коммунисты... способствовали пробуждению местного национализма, который не может не угрожать превращением в самостоятельную силу... Это чрезвычайно грозное явление, быть может, одно из самых опасных для судеб не только Советского правительства, но и будущей России» [8, с. 117, 118]. Политика Советского государства «должна стремиться к постепенному преобразованию своего федерализма из национального в областной. Принципом федерации должна быть не национальность, но реальное географическое и экономическое целое в виде области или края» [8, с. 121].

Стоявшие у власти большевики не могли быть столь откровенными, как евразийцы, но многие из них, вероятно, думали так же, да и в реальной политике особого выбора у них не было. Утверждение «советского федерализма» сопровождалось громкой критикой унитаризма. Выступая на XII съезде РКП(б) в 1923 году, через несколько месяцев после создания Союза ССР, И. Сталин с негодованием говорил о том, что в стране «бродят желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, т. е. создать так называемую „единую и неделимую“» [9, с. 481]. Эта мысль повторялась и в резолюции съезда: «Одним из ярких выражений наследства старого следует считать тот факт, что Союз Республик расценивается значительной частью советских чиновников в центре и на местах не как союз равноправных государственных единиц... а как шаг к ликвидации этих республик, как начало образования так называемого „единого-неделимого“» [9, с. 695]. Если эти заклинания были искренними, то за ними не стояло ничего, кроме иллюзий. Реальный федерализм в СССР 20-х годов был невозможен по тем же причинам, по каким он не мог пробить себе дорогу в дореволюционной России: из-за все еще слабого собственного «веса» регионов и региональных элит. Федерализм не имел достаточной социальной базы и был обречен на сползание либо к националистическому сепаратизму, либо к унитаризму. Между этими крайностями и развернулась борьба за право выступать от имени декларируемого федерализма, причем «условия русской жизни», на которые принципиально указывали евразийцы, практически предрешали победу унитаризма.

При всех поношениях «единой-неделимой», звучавших на XII съезде РКП(б), уже на этом форуме была выражена озабоченность ростом местных национализмов. Но съезд проходил на глазах у всего мира, там многое говорилось для публики¹. Всего несколько месяцев спустя эта озабоченность была выражена в гораздо менее прикрытой форме на секретном совещании ЦК РКП, где унитаризм, по существу, открыл военные действия против местных

¹ Это, видимо, осознавалось уже и тогда. Иначе откуда бы возмущение Троцкого: «Товарищи националы... нередко заявляют: „...Многие ответственные работники из центра говорят, что решения XII съезда — это, дескать, только для внешней политики“. Кто это вам сказал? — спрашиваю. Почему вы не заявляете об этом официально, почему вы в ЦК партии не сообщаете, что такой-то член партии тогда-то сказал, что резолюция XII съезда по национальному вопросу... принята только для внешней политики... Если бы какой-либо ответственный работник повел такую линию, изображая важнейшее принципиальное решение, как уловку, ЦК предложил бы его исключить из партии» [10, с. 79].

национализмов. Совещанию был придан характер суда над конкретным носителем националистического зла — М. Султан-Галиевым, который, как заявил на совещании Л. Троцкий, «на почве... своей национальной позиции... перешел ту грань, где нездоровая фракционная борьба превращается уже в прямую государственную измену». У местных партийных работников, по словам Троцкого, «на фланге национализма... не было достаточной бдительности», они «не развили в себе чуткости по отношению к... опасности... туземного национализма. И в ярком обнаружении этого — значение дела Султан-Галиева. Оно ставит надолго столб, напоминая, что у этого столба начинается обвал. Да, этот столб предотвращает товарищей национальных коммунистов от величайших опасностей» [10, с. 74, 75]. Июньское совещание 1923 года было чем-то вроде практических занятий для съехавшихся в Москву представителей новых, партийных национальных элит — им был преподан урок того, как следует толковать решения съезда. Так было положено начало долговременной политике новых имперских властей, направленной на то, чтобы вырвать у федерализма его националистические зубы.

Какое-то время казалось, что эта политика принесла успех. Этнический сепаратизм был до предела ослаблен, загнан в подполье, перестал играть сколько-нибудь заметную роль. Но вместе с тем тратил свою энергию и федерализм, превратившийся не более чем в декоративный фасад централистского унитарного государства. А это было чревато тяжелыми последствиями для СССР как единого

Слабость региональных элит

Смысл федерализма заключается в поддержании равновесия интересов частей и целого. Модернизация представала как одна из главных осей, вокруг которой объединялись эти интересы и которая заставляла новые, неимперские региональные элиты ценить имперскую государственность. Идеология «классического» дореволюционного федерализма — до того, как он дал себя поглотить национализму, — чаще всего не была ни антирусской, ни антиимперской, ни антимодернистской. Не случайно один из основателей украинского национального движения М. Драгоманов высоко оценивал петровские реформы за то, что они поставили перед обществом новые задачи, «рядом с которыми задачи поповско-казацкой Украины оказались узкими и устаревшими». «К концу XVII века в Московщине, по крайней мере в высших слоях общества (в низших украинцы и сейчас культурнее москалей!), сложились условия более широкой и свежей культуры, и к этой культуре с XVIII века украинцы потянулись добровольно» [11]. Если достижения послепетровской русской культуры — и не в силу исконной «русскости», а благодаря ее сближению с европейской² — оказались столь важны даже для украинской элиты, уже в небольшой степени европеизированной, то тем более притягательными они должны были выглядеть для представителей застойных поволжских, кавказских или среднеазиатских обществ, у которых тоже стала появляться новая элита, возникли религиозно-национальные движения. Как писал один из ведущих идеологов исламского просветительства И. Гаспринский, «Провидение... делает Россию естественной посредницей между Европой и Азией, наукой и невежеством, движением и застоєм» [13, с. 21]. Татары, по его словам, хотели бы получать от России «не старую азиатскую, а новую европейскую монету», т. е. распространение среди нас европейской науки и знаний вообще, а не простое господство и собирание податей» [13, с. 26].

Положительная оценка «цивилизаторской миссии» империи созвучна умеренному политическому федерализму. Становящиеся региональные элиты не без

² Говоря о влиянии русской культуры на западноукраинскую, Драгоманов замечал: «Московский ладан оказался вовсе не к добру в истории галицкого возрождения; петербургское же окно в Европу оказало безмерные услуги даже во Львове, поскольку оно оказалось действительно проводником общечеловеческого света» [12].

оснований видели в тогдашней имперской метрополии локомотив собственной модернизации. Они не могли не осознавать возможностей, которые открывали перед ними имперское пространство и имперская мощь. Не могли не понимать и своей неготовности контролировать обстановку в регионах в случае социального взрыва, приближение которого ощущалось всеми. Федералистские идеи не были для них дипломатическим прикрытием сепаратизма, а представляли реальную ценность, ибо отвечали их коренным интересам. Тот же Грушевский подчеркивал приверженность этим идеям даже после того, как встал во главе независимой Украины. И тогда он говорил о «федералистской традиции как ведущей идее нашей национально-политической жизни» и полагал, что со временем Украина «с теми, с кем ей будет по дороге... установит федеративную связь в интересах лучшей защиты завоеванной свободы и социальных приобретений» [6, с. 75, 76].

То, что многие сторонники федерализма все же скатились к национализму и сепаратизму и действовали во многом против своих интересов, можно объяснить естественной слабостью — неразвитостью, незрелостью, просто немногочисленностью новых региональных элит. Все это обусловило уступчивость вчерашних федералистов, их националистическую ангажированность в годы революционных потрясений.

70 лет ускоренной модернизации советского периода, казалось бы, должны были все изменить. Мощные промышленно-городские региональные комплексы СССР 80-х годов выглядели органическими частями единого целого, и никакие региональные элиты не могли быть однозначно заинтересованы в разрыве этого целого. То же, что оно все-таки почти мгновенно распалось, говорит, скорее, не о силе, а о слабости республиканских элит.

В самом деле, распад Союза не сулил бесспорных преимуществ, скажем, республикам Закавказья и особенно Центральной Азии. По логике вещей, по крайней мере какая-то часть местных элит, преследуя свои собственные цели, должна была бы ему противостоять. Между тем ее голоса почти не было слышно.

При всей непоследовательности и незавершенности советской модернизации в Закавказье и Средней Азии она зашла достаточно далеко, чтобы вызвать к жизни и расширить средние городские слои, способные отстаивать свои интересы, связанные в основном с современными устремлениями экономической, политической и культурной жизни. Но средние слои здесь все еще немногочисленны и неразвиты, во многом маргинальны. К тому же их подъем происходил на общем кризисном фоне. Порожденный модернизацией внутренний кризис традиционных закавказских и среднеазиатских обществ разрастался, социокультурные силы поляризовались, их противостояние усиливалось. Все это порождало противоречивые тенденции социальной динамики.

С одной стороны, конкуренция за новые социальные статусы заставляла наиболее активные слои коренного населения перенимать многие черты образа жизни и идеологии «колонизаторов», в них быстро увеличивалось число проимперски настроенных «западников», русофилов, «коммунистов» (парадоксальным образом часто эти понятия выступали как тождественные), подчеркивающих по преимуществу положительные стороны развития в рамках Империи-Союза и стремившихся лишь свободнее распоряжаться плодами этого развития. С другой же стороны, сама природа нарастающей конкуренции требовала дистанцирования, противостояния, оппозиционности по отношению к «колонизаторам». Добиваясь перераспределения прав и полномочий в свою пользу как внутри республик, так и в масштабах всего СССР, автохтонные региональные элиты не могли пройти мимо такого мощного источника легитимизации своих требований, как традиционализм и этнический национализм. Кризис традиционного общества создавал для этого благоприятную почву: пробуждая защитные силы этого общества, он способствовал укреплению религиозного и культурного «фундаментализма».

Однако и слишком активное использование этого козыря было небезопасно для местных элит. Уже успев вкусить от плодов модернизации, они не были

заинтересованы в отказе от ее достижений, хотели не возврата к прошлому, а большей власти и независимости в настоящем и будущем. Закавказью и Средней Азии еще только предстояло пройти многие решающие этапы модернизации, «зонтик» советской империи, несомненно, облегчал эту задачу. Симбиоз модернизма и архаики, служивший питательной средой роста местных элит, был во многом искусственным, поддерживался сильным имперским центром. С исчезновением этой поддержки хрупкое равновесие могло нарушиться, а умеренные традиционализм и национализм, пока служившие вспомогательной силой регионализма, могли радикализироваться, превратиться в передовую силу антимодернистской реакции и привести к вытеснению и даже уничтожению новых региональных элит и к приостановке модернизации в целом.

Впрочем, если бы этого и не произошло, самостоятельность, доведенная до выхода из состава СССР, все равно сулила бы не только приобретения, но и потери. Даже сохраняя власть в своих республиках и контроль над их экономикой, региональные элиты оказывались отрезанными от огромных ресурсов империи, на которые они привыкли смотреть как на свои. Может быть, наиболее ярким примером такого взгляда служит развернувшаяся незадолго до распада СССР борьба вокруг проекта переброски в засушливые районы Средней Азии вод сибирских рек. Среднеазиатские лидеры были главными сторонниками этого проекта, который, конечно, не предполагал, что Сибирь и Средняя Азия могут оказаться по разные стороны государственной границы. Поворот сибирских рек не состоялся, но доступ к другим ресурсам — сырьевым, технологическим, культурным и т. д. — был открыт. Во всех республиках Закавказья и Средней Азии сложился слой людей, ощущавших себя гражданами огромной евразийской империи и потенциально способных претендовать на любое место в ней. Им было что терять, окажись они в замкнутом пространстве небольших и бедных азиатских государств.

Не удивительно, что среднеазиатские политические элиты были ориентированы не столько на выход из империи, сколько на перераспределение в своих интересах влияния и власти внутри нее. Сепаратистские настроения в Средней Азии не были сильными, традиционалистски настроенная часть общества едва ли была способна самостоятельно подвести свои республики к выходу из Союза, во всяком случае тогда, когда это произошло на самом деле. Их выход из состава СССР в 1991 году был едва ли не вынужденным, но, повторим, почти не вызвал сопротивления.

Незаинтересованность союзной элиты

Впрочем, сопротивление распаду Союза было не более сильным и со стороны союзной элиты, которая с немалыми, правда, оговорками может быть отождествлена с элитой российской.

Как в формировании и существовании огромной евроазиатской империи, так и в том, что ее становым хребтом оказалась Россия, была своя историческая и геополитическая логика. Долгое время она казалась настолько бесспорной, что вопрос о том, зачем нужно России ее многовековое имперское строительство, даже не возникал. Провозглашенная Петром I империя естественно вписалась в восточноевропейское имперское геополитическое пространство. Правда, с точки зрения европейского Запада она была уже несколько анахроничной. Здесь постепенно складывались независимые национальные государства, народы которых, может быть, впервые в истории смогли существовать и соседствовать, не входя в обширные, иерархически организованные полиэтничные метаструктуры — империи. Решающую роль в этих переменах играл новый тип общественных, в том числе и межгосударственных, связей, созданный рыночной, городской экономикой. Но на востоке Европы говорить об анахронизме империй было рано. Здесь все еще жили политическими принципами, унаследованными от Восточной Римской империи и вполне соответствовавшими традиционному состоянию восточноевропейских обществ, по-прежнему почти исключительно аграрных и сельских.

В России это соответствие сохранялось примерно полтора столетия после Петра I, что, конечно, не означало ни легкости расширения границ, ни особой гармонии внутри империи. Ее созидание было долгим, трудным и далеко не бескровным делом и обходилось России очень дорого. Но долгое время она несла имперское бремя, казалось бы, едва ли не с радостью, замечая только выгоды своего державного положения. Какие эмоции еще столетие назад вызывало, например, завоевание Средней Азии! «Где в Азии поселится „Урус“, там сейчас становится земля русской... В будущем Азия наш исход... там наши богатства... там у нас океан» [14, с. 38]. И что проку в том океане было для Ф. Достоевского? А, видите ли, «имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индийской императрицы, превыше даже самого калифа имени. Пусть калиф, но белый царь есть царь и калифу. Вот какое убеждение надо чтобы утвердилось» [14, с. 33].

Но время шло, и уже у многих современников Достоевского так ярко выраженное им единство имперского и патриотического начал стало вызывать сомнения. Только ли выигрыш несут России ее бесконечные территориальные приобретения? Так ли уж совпадают государственно-территориальные интересы России с интересами ее граждан? Не слишком ли тяжела поступь имперского Медного всадника для отдельной человеческой судьбы? Русские люди начинают размышлять над этим, подобно персонажу Г. Успенского, вспоминавшему «топорнейшую лекцию» своего школьного учителя. «Через каждые три фразы четвертая была непременно такая: „Мы расширили пределы „от“ „до“... Затем следовали новые три фразы о мудром приказании и за ними опять та же четвертая о том, что после этого приказания только что расширенные пределы опять расширились еще дальше „от“ „до“ и все без малейших трудностей, даже как бы без людей, а с помощью какого-то „мы взяли“ расширили» [15]. Но не без трудностей и не без людей шла колонизация российских просторов, тяжелым бременем лежала она на национальной экономике, постоянно перемалывала материальные и людские ресурсы, поглощала психическую энергию нации. «Огромные пространства легко давались русскому народу, но не легко давалась ему организация этих пространств... Размеры русского государства ставили русскому народу почти непосильные задачи, держали русский народ в непомерном напряжении. И в огромном деле создания и охранения своего государства русский народ истощал свои силы» [16].

Достоевский большие надежды связывал с завоеванием Средней Азии. Понадобилось немногим более ста лет, чтобы имперский энтузиазм Достоевского сменился больным стоном А. Солженицына: «Нет у нас сил на империю...» [17]. Россия стала уставать от своей имперской роли и, в конечном счете, сама отделилась от Средней Азии (как, впрочем, и от других своих недавних «сестер»). За этим разрывом стояла воля значительной части российской политической, экономической и культурной элиты, которая почти всегда одновременно была и союзной элитой. Она очень легко склонилась к сепаратизму, тогда как серьезных защитников федерализма в ее рядах почти не нашлось.

Можно ли и в самом деле объяснить этот сепаратизм тем, что имперское бремя стало непосильным для России? Если и можно, то лишь отчасти. Было ведь не только бремя, были и общие выгоды — экономические, культурные, геополитические. Почему же они так мало значили для союзной элиты, не сумевшей ничего противопоставить натиску сепаратистов?

Федерализм — пасынок советской модернизации

Скорее всего, это объясняется тем, что в СССР вообще не было ни союзной, ни региональных элит в современном смысле этого слова, не было средних общественных слоев, на которые такие элиты могли бы опираться. Их становления не допускала советская модель развития. Это был типичный вариант «третьего пути»: технологический модернизм сочетался с консервированием социальной архаики, служившей опорой тоталитаризма.

В самом этом исторически вынужденном сочетании изначально заложено глубокое неискоренимое противоречие. Чисто «технологическая» модернизация невозможна. Развитие промышленности, рост городов, повышение уровня образования неизбежно порождают общественные слои, ориентированные на либеральные ценности гражданского общества, правового государства, короче, на социальную модернизацию. Они враждебны тоталитаризму, опасны для него, и тоталитарное государство делало все, чтобы воспрепятствовать их консолидации.

Эта задача облегчалась тем, что те же самые модернизационные перемены, которые пробуждают либеральное гражданское самосознание, долгое время питают и силы, на которые может опираться самый жесткий тоталитаризм. В частности, они углубляют кризис этничности с присущим ему синдромом антимодернизма, с потенциалом недовольства, протеста, ксенофобии и т. д. Этот потенциал умело использовался в политической игре, в борьбе с любыми попытками критики режима, либерального свободомыслия. Постоянно осуждаемый на словах этнический национализм — антипод гражданского общества — заставил с собой считаться, стал нужным, любимым детищем властей. Того же нельзя сказать о федерализме, который смело можно назвать их пасынком.

Все школьники в СССР были знакомы с «Манифестом Коммунистической партии», где говорится, что экономическая деятельность буржуазии сделала неодолимой политическую централизацию, вследствие чего «независимые, связанные почти только союзными отношениями области... оказались сплоченными в одну нацию, с одним правительством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, с одной таможенной границей» [18]. Экономическую деятельность буржуазии в СССР заменяла деятельность Госплана. Вся экономика, а по существу, вся страна, рассматривалась как один большой завод, внутри которого, конечно, очень важна горизонтальная технологическая кооперация. Соответственно и создавалось единое на всю страну технологическое пространство. Его пронизывали дороги и трубопроводы, внутри него перемещались люди и грузы, шел обмен деятельностью и т. д. Это технологическое пространство принято было считать экономическим. На самом же деле оно было псевдоэкономическим; оно не было пространством внутреннего рынка, на котором определяются и сталкиваются экономические интересы конкретных людей или групп людей — собственников, непосредственно зависящих от всего, что происходит в этом пространстве и способных активно воздействовать на его состояние. Соответственно, не было и массового слоя носителей федералистской идеи, стремящихся к меньшей зависимости от центра во имя большей свободы действий на внутреннем рынке, но не желающих терять этот рынок или дробить его.

Реальные советские региональные элиты, так же как и российско-союзная элита, были статусными, «номенклатурными», зависели от отношений с центром, от его благорасположения. Они чувствовали себя хорошо в рамках жесткой вертикальной пирамиды власти, типичной для всей советской системы, но мало что теряли, если, распадаясь, эта пирамида просто дробилась на подобные же фигуры меньших размеров. В малых пирамидах местные элиты оказываются ближе к новым вершинам, распад СССР означал для них повышение статуса, что для них было главным. Укрепить же свои позиции, свою власть, легитимность которой прежде освящалась союзным центром, помогала опора на все тот же этнический национализм.

Нестатусной элиты, общественных слоев, состоящих из независимых частных лиц, из собственников, опирающихся на горизонтальные, безразличные к административным границам связи, в СССР не существовало или во всяком случае они были намного менее развиты, ибо очень слабо были развиты сами эти связи. Но только такие слои кровно заинтересованы в федерализме и служат ему надежной опорой.

Нерушимость СССР была одной из главных, постоянно декларируемых ценностей советского политического истеблишмента. Союз республик и впрямь выглядел необыкновенно прочным. Но это была прочность деревянной бочки, скреплен-

ной снаружи железными обручами, а не прочность атома, целостность которого обеспечивается его внутренними силами. Огромные усилия и ресурсы были направлены на то, чтобы не заржавели и не ослабли внешние железные обручи, этой задаче подчинялась едва ли не вся конструкция советской мобилизационной модели развития. Но все оказалось тщетным, ибо сама эта модель была главной причиной недоразвитости куда более важных внутренних сил сцепления. В конце концов обручи слетели, бочка рассыпалась. И дело совсем не в том, что в Советском Союзе были плохие бондари. Просто ремесло бондаря и атомная физика — это не совсем одно и то же.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ключевский В.* Курс русской истории. М., 1937. Ч. V. С. 108.
2. *Потанин Г.* Областные тенденции в Сибири. Томск, 1907.
3. *Геллер Э.* Нации и национализм. М., 1991. С. 5.
4. *Ядринцев Н. М.* Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892. С. 95.
5. *Грушевський М.* Українці//*Грушевський М. С.* Історія України. Київ, 1992. (Русский оригинал см. в кн.: *Формы национального движения в современных государствах. Австро-Венгрия, Россия, Германия.* СПб., 1910. С. 231, 232.)
6. *Грушевський М.* На порозі нової України: гадки і мрії Київ, 1991.
7. *Евразийство. Опыт систематического изложения//Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России.* М., 1992. С. 399.
8. *Алексеев Н.* Советский федерализм//*Общественные науки и современность.* 1992. № 1.
9. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968.
10. Тайны национальной политики ЦК РКП. Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в г. Москве 9—12 июня 1923 года. Стенографический отчет. М., 1992.
11. *Драгоманов М. П.* Чудацькі думки про українську національну справу//*Драгоманов М. П.* Вибране. Київ, 1991. С. 535—537.
12. *Драгоманов М. П.* Политические сочинения. Т. 1. Центр и окраины. М., 1908. С. 456.
13. *Гаспринский Исмаил Бей.* Россия и Восток. Казань, 1993.
14. *Достоевский Ф. М.* Геок-Тепе. Что такое Азия для нас?//*Полное собрание сочинений.* Т. 27. Дневник писателя, 1881. М., 1984.
15. *Успенский Г. И.* Собрание сочинений. Т. 6. М., 1956. С. 75.
16. *Бердяев Н.* Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 62.
17. *Солженицын А.* Как нам обустроить Россию. Посильные соображения. М., 1991. С. 6.
18. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 4. С. 428.

© А. Вишневый, 1996

С. В. ЛУРЬЕ

Российская и Британская империи: культурологический подход *

Тема Российской Империи вот-вот снова войдет в число общественно значимых. Вероятно, она подвергнется острой критике, но на этот раз уже не огульной, а конструктивной и заинтересованной. Россия не перестала быть многонациональным государством. Сегодня это приносит ей множество сложных проблем. Однако если мы и дальше будем пугаться слов и играть в жмурки сами с собой, то вряд ли поможем беде. От историка требуется анализ ошибок и конфликтогенных факторов в имперской практике, осознания внутренней логики имперского действия — что, почему и как делали наши предки, а особенно причин трудностей и неудач. Слово «империя» все реже употребляется как эмоционально-ругательное, но остается метафорой. Современная культурология и политология не могут предложить адекватного истолкования этого понятия, тем более концептуальный аппарат, позволяющий описывать государственные образования имперского типа как культурный феномен. Поэтому следует начать с того, чтобы дать обзор различных культурологических подходов к проблеме империи, а затем описать факторы, формировавшие имперское сознание и имперское действие.

Поле конфликтов или пространство нормы?

Как справедливо отмечал Г. Лихтгейм, первая трудность при изучении империй и империализма состоит в том, что «историк тонет в массе фактического материала, который невозможно обобщить [1, р. 9]. В результате феномен империи «приобрел множество нюансов значений... превратился в социологических работах в ярлык» [2], дискуссии же «между представителями соперничающих теорий обычно производят больше смешения, чем ясности. Прежде всего отсутствует общее согласие относительно самого значения этого слова и о том, какой феномен оно обозначает» [3]. Неясно даже, имеем ли мы дело с единым явлением, «выражающимся во множестве форм» [4], или же за одним термином «империя» стоит «несколько понятий и несколько явлений» [5].

Итак, изучение проблемы империи, в том числе Российской Империи, следовало бы начать с методологии подхода к вопросу. Об имперском строительстве чрезвычайно много писали как о явлении политико-экономическом и политико-стратегическом, но мало как о социокультурном феномене. Мало, конечно, но означает ничего. К этой теме, особенно в последние годы, обращались некоторые отечественные и зарубежные авторы. С анализа библиографии вопроса, не слишком пока обширной, и следует приступить к изучению империи как социокультурного явления. И вовсе не только ради «академической полноты». Дело в том, что при библиографическом обзоре обнаруживается некое существенное различие в подходах к проблеме империи в литературе отечественной и

* Работа выполнена при поддержке Московского отделения Российского научного фонда.